

владимир маркман

на краю географии



МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ

1979

Владимир Маркман

На краю географии

Авторский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4950546

ISBN 978-1-926720-27-2

Аннотация

Записки политзаключенного о советских лагерях 1970-х годов.

Владимир Маркман

На краю географии

ЗА КРАЕМ НАШЕГО МИРА

«...Вот ежели ты ему ножик в горло засунешь, то он глаза выкатывает, за глотку хватается и перед смертью ногами сучит, задыхается, значит. А ежели в пузо, то нож гладко заходит, как в масло. Гы-ы!»

Читателю, который хочет узнать, в каком мире будут жить его дети, кто будет хозяином в этом мире и как он будет управляться, я настоятельно рекомендую внимательно ознакомиться с книгой, которую он сейчас держит в руках.

Это книга этнографическая – в лучшем смысле этого слова. Она пронизана тем чисто научным любопытством, которое испытывает этнограф, столкнувшийся с затерянным племенем в лесах острова Борнео. В ней исследуются специфические нравы, обычаи, ценности, короче – специфическая культура особого племени «жестоких обезьян», затерянного в лесах гулаговских островов. На краю географии, а точнее – уже за краем нашего мира, за своей колючей лагерной проволокой это племя выращивает, быть может, хозяев мира завтрашнего.

Этнографической книге надлежит профессиональное

бесстрашие. Владимир Маркман рассказывает о быте, частью которого ему довелось быть в течение трёх лет, с такой отстранённостью, которая порой кажется паразитической. Было бы соблазнительно объяснить эту самоисключённость автора из описываемого материала просто душевным здоровьем сильного человека или политической сознательностью убеждённого сиониста, попавшего в лагерь мстительными стараниями КГБ и знающего, что срок его нездешних странствий – конечен. Но мне чудится в этом спокойном и холодном бесстрашии естественная реакция и позиция земного наблюдателя на органически чуждую ему марсианскую действительность, которую он не может оценить, но только описать.

В последние годы появилось немало книг, рассказывающих об ужасах уголовных лагерей. Одним из результатов этого литературного потока стало то, что ужасы эти теперь куда более известны читателю, чем, скажем, быт и нравы рыбаков Каспия или нефтяников Сургута. В целом, однако, лагерные книги последних десятилетий остаются в традициях классической русской литературы, всегда с обостренным вниманием относившейся к жизни «дна». Традиции эти (по моему убеждению – глубоко народные) сочетают в себе общедемократическое сострадание к «униженным и оскорбленным» с чисто крестьянским, враждебным неприятием «уголовщины» в ее чистом виде. Однако в любом случае эти традиции предполагают сохранение некой связи и взаимоот-

несенности описывающего и описываемого, как бы составляющих две разные стороны, – но стороны одного и того же мира.

Ужас, сострадание, отвращение, понимание, возмущение, оправдание, даже романтическая героизация уголовного мира – эти основные мотивы современной лагерной литературы – есть лишь разные формы признания неразрывности этой связи.

Книга Маркмана лишена этих обязательных мотивов, как лишена она всяких претензий на социальные выводы или политические обвинения в адрес режима (каковые выводы и обвинения тоже представляют собой скрытое утверждение принадлежности лагерного мира нашему).

Я не знаю другой книги, которая с такой убедительностью демонстрировала бы, что в действительности перед нами – иной и во всем противостоящий нашему мир, образ жизни, культура.

Остается с глубокой тревогой и печалью констатировать, что островки этого чуждого мира существуют и возникают в недрах нашей цивилизации повсеместно и почти неприкрыто, а их значение, как образчиков цивилизации завтрашнего дня, нами всерьез не оценивается.

Когда с черно-белого экрана нам демонстрируют ужасы нацистских концлагерей, наше потрясенное сознание может еще зацепиться за спасительную мысль, что это все-таки человеческое существование, – хотя и в предельно ненормаль-

ных условиях.

Когда с того же экрана демонстрируют прилюдное испражнение и совокупление пар на многотысячном хиппистском пляже, невозмутимую и самодовольную исповедь арабского или немецкого террориста, массовое убийство и самоубийство сектантов и Гайане, – тогда сознанию зацепиться не за что, ибо перед ним – совершенно чуждое существование в предельно нормальных своих условиях. Созерцание этой жизни ужасает и зачаровывает одновременно, и сознание находит свое равновесие – свое равнодушие, – внушая себе, что эта жизнь – за краем нашего мира. Разве в нашем может быть такое:

«Ну, взял я как-то пистолет, а она схватила меня за руку – не пускает. Разозлился я, хотел ее застрелить. Она испугалась, стала просить, чтобы я ее не убивал. Под кровать залезла. Я ее выволок, да чего-то жалко мне ее убивать стало. Я ей сосок на груди отстрелил. Она в обморок. Ну, я стал сосать у нее кровь...»

«Я ей говорю: ложись, стерва. Легла. Я на нее. А она не подмахивает. Я слезаю, беру молоток и трах ей по зубам. Выбил зубы. Ну, закрыла она рот платком. Я залез на нее, а она ревет, да подмахивает...»

«Тогда специально пацанов откармливали для побега. Называли их „сухой паек“. В дороге ели – как иначе в тайге с одним ножом еду найдешь?»

Это так и есть – это иной мир.

Но представьте себе, что вам в нем жить...

Р. Нудельман

Где это? – подумает читатель. Но название это не выдуманно. Так порой отвечают бывшие заключенные, вернувшиеся из Сибири, на вопрос: «Где был?»

* * *

На стол с размаху шлёпнулась муха, резкими перебежками стала приближаться к стопке бумаги, останавливаясь, потирая лапки, как пьяница перед стаканом водки в холодную погоду. Я обнаружил в ней массу интересного, как-то незамеченного за предыдущие тридцать лет с лишним. Еще бы, ведь это первое живое существо за последние три дня. Следовательно не в счет – он существо неживое, он лишь элемент системы, состоящей из стен, решёток, лязга затворов и вони параши.

Муха взлетела, так и не добравшись до бумаг. Я наблюдал за ней и вдруг уперся взглядом в зеркало в углу, – там я увидел кое-что поинтереснее, чем муха. Это кое-что представляло собой измятое страшилище со свалывшимися в войлок волосами, воспаленными глазами и бордово-землистой кожей.

Пока я соображал, испугаются ли меня вороны, если я в таком виде буду работать огородным пугалом, следовательно

достал из стопки лист бумаги и сочувственным голосом спросил:

– Как же это вы дошли до жизни такой?

А дошёл я до жизни такой всего три дня назад. Два милиционера остановили меня на вокзале и предложили зайти в железнодорожное отделение милиции для выяснения какого-то недоразумения. Потом пришли два сотрудника КГБ, при них меня заботливо обыскали, забрали ремень и шнурки от ботинок: чтобы не повесился сдуру (а то ведь, если советская власть не позаботится, никто не позаботится), – и заперли в полутёмную вонючую камеру.

Был последний день апреля – время еще холодное на Урале, – и сквозь разбитое стекло заползала злая, промозглая сырость. Я завернулся в плащ, согревавший не более, чем вуаль, и лег на жесткие тюремные нары, кишевшие клопами. Наступила моя первая тюремная ночь – с шорохами, случайным лязганьем замков, звоном ключей, тяжелыми вздохами и туберкулезным кашлем из соседних камер. Казалось, ей не будет конца. Но утро ворвалось в камеру победными звуками первомайских фанфар. Толпа демонстрантов с гомоном и смехом проходила мимо железнодорожной тюрьмы. Потом они, вздымая знамена, с криками «ура!» пройдут площадью Пятого года, мимо Ленина, застывшего с протянутой рукой, и направятся дальше, к главной тюрьме города, там демонстрация закончится, знамена и транспаранты погрузят на машины, и толпа разбредется по домам.

Теперь, сидя перед следователем, я размышлял, сколько же мне дадут. Раньше ни за что давали 10 лет, теперь – только три года. Несомненный прогресс, но тем не менее... Нет, все-таки больше трех лет не должны дать, потому что, во-первых, ничего не совершал... тьфу ты, черт, опять этот дурацкий аргумент. А во-вторых... Но дальше первого аргумента дело не шло. Нет, больше трех лет не должны. Ведь в КГБ сулили три года еще до ареста.

– Вот, – ворковал следователь, – заявление на вас. Телефонный разговор с Израилем помните? Три недели назад?

Он протянул мне бумагу.

– Вот заявление телефонистки. Она пишет, что, когда слушала ваш разговор, её возмущало, что вы выражались нецензурной бранью. Видите, она дальше пишет, ей кажется, что брань была обращена либо к ней, либо к телефонисткам станции. Ну, и нас это тоже возмущает. Так что распишитесь, что обвиняетесь в злостном хулиганстве.

Я смотрел на следователя, потом на пугало в зеркале. Да они что, сдурели? Злостное хулиганство – это нужно, чтобы ранее было несколько судимостей, чтобы хулиганство было совершено в общественном месте и с особой дерзостью. А тут, сидел в собственной квартире – и пять лет.

– А вот, – следователь достал второй лист. – Распишитесь: вы обвиняетесь в распространении заведомо ложных, клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй.

Ну, это еще куда ни шло, три года. Но пять лет за хулиганство?

Возвратившись в камеру, я в злобе заколотил по толстой кирпичной стене, но в ответ не отлетело даже слабого звука. Никто ничего отсюда не услышит, и ничто сюда не донесётся, кроме победных фанфар.

И время остановилось. День сменялся ночью, ночь – днем... Единственное яркое впечатление за сутки – когда выводят сливать в уборную парашу. Но это всего минута, надзиратели торопят, а потом опять с лязгом захлопывают двери, и время снова застывает неподвижно.

Наконец, на седьмые сутки, меня запихали в воронку – стакан – можно только сидеть, не двигаясь, и повезли в главную следственную тюрьму, про которую ходила шутка, что за образцовую работу ей хотят присвоить название «Центральная, ордена Ленина, тюрьма имени Сталина». Выпускали из воронка по одному. Короткие команды – и тебя передвигают, как пешку. Вот заперли в одну из маленьких комнат в длиннющем коридоре. Нигде ни души. Тишина. Внезапно снова лязг замков, короткая, злая команда, и я в другой такой же комнате, затем – на тюремном дворе, где снова видно небо. Вот завели куда-то опять. А, да это баня! Вот здорово!.. Мрачный зэк с машинкой для стрижки волос в руке указал на лавку. В мгновение ока волосы слипшимися комьями упали на пол. Зэк удовлетворенно поднял большой палец – дескать, здорово. Я провел ладошкой по колючему

черепу: ничего, была бы голова цела – волосы отрастут. После стрижки заперли в мокрой комнате – мойся как можешь. Райское блаженство: теплый душ после недели в холодной одиночке. Потом назад по пустынным коридорам. Вот остановились возле одной из дверей. Лязгнул замок, дверь распахнулась – заходи – и снова заперлась, теперь уже надолго.

На койке сидел мужчина, лет тридцати, с худым скуластым лицом.

– О, как я рад, что вы пришли! – он весь просиял и бросился помогать мне расправлять тюремный матрац. Я его радости не разделял и потому промолчал.

– Вот уже две недели я сижу один, – продолжал он. – Думаю, чего это меня оставили одного, уж не провинился ли в чем? Знаете, одному скучновато.

– За что сидите? – поинтересовался я.

– А-а-а, – он назвал статей пять.

– А что это? – спросил я.

– Это... – обитатель помедлил, – это мошенничество.

Кража мошенническим способом.

Я осмотрел камеру. Небольшая комната. Четыре железные койки поставлены в два этажа. Стол и две табуретки замурованы в цемент – не отдерешь. И, конечно, неизменная лампочка: в камере всегда должен быть свет.

– Не так уж тут страшно, в тюрьме, – заключил я.

– Э-э-э... это вам здорово повезло, – сказал давний жилец. – Здесь спецкорпус. Особо строгая изоляция. А в общих

камерах страх Божий, что творится.

– Надёжно построено, – сказал я, увидев в проёме дня решетки почти метровую толщину стен.

– Этот корпус с екатерининских времен. А остальное здание – нового времени. Раньше этот корпус был один, на весь Урал, а сейчас – всего-то малая часть всей тюрьмы. Да садитесь к столу, у меня тут есть сигареты, вот от пайки хлеба немного осталось, – потом, затянувшись дымом, посмотрел на меня внимательно.

– А вы еврей, – уверенно сказал он. – Да? – и ослепительно улыбнулся.

– Ну, ничего, – попытался он меня успокоить, – чего в жизни не бывает. За что вас посадили?

– За хулиганство, – ответил я, не желая вдаваться в подробности.

– Что-то не похоже, – сосед недоверчиво уставился на меня немигающими, смеющимися глазами. – Нет, не похоже. Ну да ладно, давайте знакомиться.

Его зовут Лёня, ему 32 года, и сидит он за...

– Впрочем, почитаете на досуге – времени много. –

Он достал из мешка пухлый пакет.

– Это обвинительное заключение, сто двадцать страниц.

Итог, так сказать, жизненного пути.

Я раскрыл первую страницу. Обвинительное заключение адресовано примерно десятку лиц.

– А кто остальные?

Лёня снова ослепительно улыбнулся.

– Это всё я, – охотно пояснил он. – Видите, там везде написано: он же, он же, он же. Вот и Левитан (на тюремном жаргоне лицо, которое приносит объявления, документы для расписки, приказы по тюрьме, и т. д.) спросил, когда принес обвинилровку, где остальные. А их нет – всё он же, он же, он же. Вот прочтите: при обыске изъяли 29 чистых паспортов, остальные – на фамилии, которые здесь приведены.

В коридоре послышался шум.

– Ужин несут, – сказал Леня. – Давайте обвинилровку, потом прочтете. – И сразу же перешел на другую тему. – Вы ели когда-нибудь уху из рыбьих глаз?

Я содрогнулся. Моя реакция привела его в отличное расположение духа.

– Здесь на ужин всегда дают уху из рыбьих глаз. Правда, из глаз протухшей рыбы, но все равно уха.

– Вы давно здесь? – поинтересовался я.

– О! Давно. У меня ведь уже был суд. Но прокурор заявил протест, и меня оставили под следствием по другому делу. Так что я уже семь месяцев здесь. А всего в следственной тюрьме могут держать девять месяцев по санкции генерального прокурора. Так что мне еще два месяца. Ну да ладно, уже подходят.

Лязгнул замок, в кормушку просунулась рука с пайкой хлеба, которую Леня моментально схватил и протянул мне, а затем от той же руки принял две вонючие миски, и кормуш-

ка захлопнулась.

В мисках болталась тухлая, дымящаяся масса. Есть её было, конечно, невозможно, но Лёня хлебал её, выбрасывая на стол кости и какие-то тёмные шарики.

– Вот это, – пояснил Лёня, – и есть рыбы глаза. А наутро дают варёную кислую капусту. От неё в тюрьме кислый запах. Так-то бы и ничего, привыкаешь, вот только её не отмывают от песка, а с песком есть совершенно невозможно. Да вы привыкните, все так. Ешьте, не так уж это и противно.

Лёня был для меня суший клад. Знал порядки и нравы, полезно было послушать. Может быть, он специально посажен ко мне? Но скрывать мне было нечего, и бояться не стоило.

Лёня подолгу рассказывал о своей жизни и профессии. Он закончил театральное училище, а перед самым арестом окончил первый курс юридического института. Задержали его в гостинице за «работой» – подделкой документов. Судили за мошенничество; ущерб от лёниной «деятельности» был причинён только частным лицам, и ему дали максимум – пять или шесть лет по данной статье. Но Лёне крупно не повезло. Трое, все из разных городов, показали, что он в пьяном виде раскрывал чемодан полный денег и пытался их раздавать.

– Сколько было в чемодане денег? – спрашивали судья и прокурор каждого свидетеля. – Пятьдесят, сто тысяч, миллион?

– Не знаю, – стереотипно отвечали растерянные свидетели, заработок которых не превышал 100 рублей в месяц.

– Было очень много денег, – ответил один бедный студент. – В чемодане было только нижнее бельё, да ещё кое-какие вещички, а остальное – деньги.

А в это время органы усиленно искали банду преступников. По поддельным документам жулики оформляли в магазинах кредит на покупку дорогих телевизоров, радиоприёмников и прочих вещей. Тут же продавали их случайным лицам за полцены, а потом обнаруживалось, что платить за вещи, взятые в кредит, некому. По Свердловской области к тому времени набиралось таких кредитов до тридцати тысяч, по Союзу сумма была астрономическая, а справки все прибывали. И тут-то прокурор заподозрил Лёню и потребовал продолжить следствие. Его вернули обратно в тюрьму.

– Зачем же ты раскрывал чемодан с деньгами? – спросил я.

– Ничего не мог с собой поделаться, – пожал плечами Лёня. – Стал спиваться и совсем потерял контроль над собой.

Он рассказывал, как подделывать печати, как свести тушь и чернила с документов, почему нельзя сводить с сетки, которая наносится на некоторые документы, и как переклеить на чужой паспорт свою фотографию с нанесённым на ней оттиском печати и углублениями.

Как-то раз я пришёл с очередного допроса вконец измотанный, и Лёня попросил меня расписаться на листе в трех

местах. Я расписался и сразу же лег спать, по лениному совету. Он тоже после допроса ложился и спал по 12–15 часов.

Проснулся я к ужину. Лёня протянул мне лист с моими подписями.

– Узнаешь? – спросил он.

Я кивнул. Лёня протянул мне другой, такой же, в тех же местах стояли мои подписи – без сомнения, мои! Я не поверил своим глазам.

– Так какие твои? – Лёня довольно улыбался.

Но как я ни силился, отличить свои подписи от поддельных так и не смог.

– А ведь было время, я едва не оставил свою профессию, – сказал Леня. – Года два ничем не занимался. Женился. Дело было в Армении. Жена оказалась хорошая девочка, а денег хватало. Но жена умерла в родах, оставив сынишку. Он сейчас у моих родителей. Долго мне его не увидеть.

– А как тебя занесло в Армению?

– О, там у меня была интересная история. Раз оказался я в гостинице в Ереване. А в одном номере со мной находились архитекторы из Москвы, они проектировали памятник армянскому поэту Аванесяну. У них были чертежи трех вариантов памятника, рассмотренных комиссией, с печатями и подписями, все как положено. Но из этих трех вариантов утвердили-то только один. Я выпросил у них неутверждённый... И завертелось. Я купил кожаную папку, положил в нее бланки с фамилиями и росписями и несколько пачек де-

нег, тысяч 5–6 рублей. Я заходил в институты, в проектные бюро и говорил: «Граждане, мы приступаем к сооружению памятника известному армянскому поэту. Денег у нас нет, и мы хотим строить его на пожертвования. Мы обращаемся ко всем, в ком сохранились национальные чувства и любовь к национальной истории, помочь нам в этом благородном деле». А армяне, как известно, отсутствием этих чувств не страдают. Но и отсутствием денег тоже: спекулянтов разного рода, знаешь сам, уйма. Ко мне сбегалась масса народу. Я раскрывал папку – а там уже лежало несколько пачек денег. Дескать, есть еще люди, в которых не угасли национальные чувства... Я только и успевал объяснять: «Вот бланки для лиц, которые хотят пожертвовать деньги в частном порядке». Несколько таких бланков уже были заполнены, и напротив сумм с тремя нулями стояли самые разные подписи, и армянские тоже, которые я поставил сам. «А вот бланки для организаций. Но мы принимаем деньги только наличными». Если какой-нибудь бдительный гражданин требовал документы – но так было два или три раза, – я показывал официальную бумагу, что уполномочен для сбора пожертвований. Были и такие, что деньги давали, но просили не записывать в бланк. От них я получал больше всего – иногда до пяти тысяч. Какому-нибудь шулеру, сам понимаешь, невыгодно, чтобы его имя было занесено в бланк. Откуда у служащего с окладом в 100 рублей такие деньги на пожертвования? Деньги потекли. Правда, работа была тяжёлая. С утра

до вечера я собирал деньги. А стубило меня то, что я совсем обнаглел и решил обобрать партийного бонзу. Тот попросил прийти на следующий день. И ведь чувствовал я, что не стоит, – так поди ж ты, хочется повернуть что-нибудь такое красивое. Ну и попался. Зашел к нему, – и, как всегда, двое просят документы. И, по возможности, настоящие.

– Ну и как, судили тебя?

– О, это был не суд, а смех. С организациями я, конечно, сразу расплатился, – за это срок большой, да и взял я у них немного, но вот с частными лицами я расплачиваться не собирался. Да и сами частные лица не желали, чтобы я с ними расплачивался, особенно те, кто жертвовал крупные суммы. Отвертелся я – дали очень малый срок. И хоть заплатить пришлось порядком судьям и следователю, но мне все равно денег много осталось.

Лёня замолчал, улыбаясь собственным воспоминаниям. Наступила тишина. В камере напротив раздался душераздирающий крик – кого-то били. Протопали надзиратели, звякнули ключи. Из открытой камеры выбежал тот, кого били, и, грохнувшись на пол, с надрывным стоном дышал после драки.

А между тем я мучительно думал, как опровергнуть обвинения телефонистки. Не было никаких свидетелей, кроме нее, и ей, конечно, верят, да и как иначе? Ведь ясно, что она писала по указке КГБ. Ну, такой плохой работы я от них не ожидал. В газетах с благородным негодованием пи-

шут, что в странах проклятого капитала существует унизи-
тельная практика подслушивания телефонных разговоров, а
тут не только не стыдятся признаться в этом, но и выстав-
ляют подслушивавшего свидетеля. Да еще подслушиватель
оскорблен, что подслушал нецензурную брань, а потому про-
сит меня судить.

Следователь изредка меня вызывал, и процедура эта была
не из приятных: около часа держали в «стакане» – крошеч-
ной камерке с высоким потолком, усиливающим тягостное
чувство безысходности, со стенами, разделанными «под шу-
бу» – с шероховатой, режущей поверхностью, чтобы нельзя
было прислониться. Самые закоренелые лагерники не могли
долго вынести там – начинали барабанить в дверь, рискуя,
что на них наденут самозатягивающиеся, разрывающие ко-
жу тонким металлическим тросом наручники или изобьют.
Потом следователь по десять часов кряду вытягивал душу
– я начал понимать, почему Леня после допросов ложился
спать. Ведь ему грозило пятнадцать лет или расстрел, а мне
не более пяти. Правда, прибавилась еще третья статья – раз-
жигание национальной розни, но общий срок она увеличить
не могла, ибо по закону он не должен превышать срок самой
тяжкой статьи, в данном случае – пять лет.

Я решил посоветоваться с Лёней. Он внимательно выслу-
шал и ненадолго задумался. Потом стал рассуждать вслух.
– Посмотри, – сказал он. – Телефонистка сразу обратилась
с жалобой к областному прокурору. А ты спроси ее, записала

ли она это в книгу, в которой регистрируют обычно все происшествия во время дежурства. Я уверен, такая книга есть на каждой станции, и уверен, что она там ничего не написала. И спроси, обратилась ли она с жалобой к своему начальству? Попросила ли, чтобы отключили твой телефон, раз ты такой хулиган? Если это проделки КГБ, то ясно, что они это не предусмотрели и она ни к кому не обращалась. И далее, спроси ее, откуда она узнала, что это ты? Ведь телефон, как ты говоришь, записан не на твою фамилию. Допустим, скажет, что узнала тебя по голосу. То есть тот голос, который она слышала по телефону, похож на твой в данный момент. Но телефон искажает голос. Если она часто слышала твой голос в живом разговоре, то может узнать его и по телефону, но не наоборот. И далее. Ты ведь не разговариваешь с ней по телефону. Просто принимаешь от нее разговор. А сколько раз в день она соединяет абонентов? Разве возможно всех запомнить по голосу?

Лёня нашел тысячи доказательств против телефонистки. Мне и в голову это не приходило. Его советы мне сильно помогли. Свидетельница действительно оказалась на суде в дурацком положении. Но советоваться с Леней по главному пункту обвинения – в распространении антисоветской пропаганды – я не стал. Тут обвинения были просты: протестовал против судебных преследований невинных людей, подписывал протесты вместе с сионистски настроенными лицами. Вполне достаточно.

– Ведь это не шутка, – объяснял мне следователь. – Вы знаете, что раньше за это бывало? Знаете? Вы обнаглели.

В такие моменты мне хотелось его обнять и сказать: «Родной, успокойся, вернутся еще эти времена».

А у Лёни тем временем настроение ухудшилось. С допросов он приходил насквозь промокший от пота. Вызывали бухгалтеров магазинов, принимавших заказы на покупки в кредит, но ни один не опознал его. Для Лёни это был, конечно, блестящий аргумент.

«Как это может быть, – говорил он следователю, – что я по десять раз на день заходил к одному и тому же бухгалтеру оформлять кредиты, и он ни разу меня не узнал? Да ведь он бы сразу заявил в милицию. А сколько магазинов? И в каждом из них по несколько раз в день я, судя по документам, оформлял кредиты, и никто не обратил внимания, что это один и тот же человек под разными фамилиями? Да вы в своем ли уме? Может ли такое быть?»

Но доказательства прибывали. На каком-то вокзале из камеры хранения сдали в милицию неостребованный чемодан. Там обнаружили деньги, и немалые, несколько паспортов на разные фамилии, с печатями, но без фотографий. А на одном из паспортов – лёнину фотографию и одну из фамилий, на которую были оформлены кредиты. И хотя даже на этот раз бухгалтер не опознал личность, Леня как-то раз, глядя вниз на окна камер, где находились приговоренные к смерти, сказал мне с улыбкой: «Скоро я буду смотреть на те-

бя оттуда».

– А как же ты мог так менять внешность? – спросил я как-то раз.

– А разве это был я? – спросил Леня. – Я ведь только рассказывал, в чем меня обвиняют.

Впрочем, он с охотой перечислил все способы наложения грима: и японские шарики, изменяющие форму носа, и резиновые шрамы, и мази, и парики. Он с удовольствием демонстрировал свою способность изменять голос – от детского до голоса пропившейся старухи.

Раз, во время прогулки по тюремному двору, он нашел какую-то букашку. «Смотри, – сказал он, – живая тварь».

Я вспомнил о мухе в кабинете следователя. Букашка ползла по ладони, по длинным пальцам Лёни – пальцам артиста и профессионального преступника. Потом расправила крылья и растворилась в голубой дали.

Следствие по моему делу заканчивалось. Я узнал многое о жизни в тюрьме. Я узнал, что по утрам время течет быстрее, чем днем, а вечером превращается в настоящую пытку; что в соседней камере тебя услышат, если ты будешь говорить в кружку, приставив ее к водосточной трубе; как передать другому махорку, когда выводят на прогулку в тюремный двор. И что неумолимой судьбе можно противопоставить безразличие к ней.

Закончились очные ставки. На одной из них действующим лицом был бортпроводник Иткин – еврей, внештатный

сотрудник милиции, который даже не скрывал свою связь с органами и по тупости написал об этом в своих показаниях. Следователь не обратил на это внимания – ведь Иткин показания давал сначала в КГБ, а не в милиции. Очная ставка протекала примерно так.

– Говорил ли вам подследственный, что в Советском Союзе нет демократии? – спрашивал, не улыбаясь, следователь.

– Да-да, он говорил, что демократии нет, – соглашался Иткин.

– А где он это вам говорил?

– Он мне говорил это наедине.

– А говорил ли он вам, что в Израиле демократии больше, чем у нас, и все евреи должны ехать в Израиль?

– Да-да, говорил, – послушно отвечал Иткин.

Следователь, нахмуря брови, записывал важную информацию в протокол. Чтобы подчеркнуть значительность момента, он сделал небольшую паузу.

– Правду ли говорит гражданин Иткин? – обратился ко мне следователь, и лицо его сделалось участливым и добрым.

– Как вы можете записывать такую чушь? – спросил я.

– Значит, вы считаете, что это неправда? – на лице следователя появилось такое недоумение, как будто он обнаружил, что по пьянке обнял в темноте вместо родной мамы еврейского раввина. – Но зачем гражданину Иткину лгать? Он только что сказал, что никаких личных счетов у вас с ним нет и он к вам никакой вражды не испытывает. Да и вы при-

знали, что у вас не было никаких ссор. Иткину нет смысла лгать. Вот видите! Мало того, что вы агитировали евреев выезжать в Израиль, вы и здесь себя нехорошо ведете. Не осознали. Честный человек тут рассказывает все, как было, а вы, вместо того чтобы добросовестно во всем признаться, изворачиваетесь, пытаетесь опорочить свидетеля. Стыдно!

– Ну и спектакль, – сказал я Лёне в камере. – Конечно, этот болван писал показания по указке КГБ, но там даже не удосужились придумать что-нибудь разумное. В нормальном суде никто не стал бы разбирать такую ерунду, раз он признался, что является внештатным сотрудником милиции. По закону он в этом случае не имеет права давать показания. Но тут-то суду будет всё ясно. К тому же он утверждает, что говорил со мной наедине, без свидетелей. Поди, докажи, что я с ним, кроме как о мясе, которое он просил привезти из Москвы, ни о чем никогда не говорил.

– Тут тоже можно кое-что придумать, – сказал Лёня. – Спроси его на суде, почему это он решил сообщить об этом в КГБ на следующий день после твоего ареста, как это, по твоим словам, видно по дате его заявления. Почему не заявил об этом сразу, если уж считал, что об этом стоит заявить? Потом спроси его: «Как ты ко мне относишься?» Если судья не спохватится и не сделает отвод твоему вопросу, то Иткин наверняка попадетсЯ. Скажет, что относится хорошо – ведь он утверждал, что отношения у вас были хорошие, – тогда ты его спроси: «Как ты можешь относиться хорошо к чело-

веку, который, по твоим понятиям, совершил преступление и на которого ты заявил в КГБ?» Скажет, что относится к тебе плохо, – спроси: «Зачем ты встречался со мной? Уж не по какому-либо заданию?» И еще спроси, как он попал на другой день после твоего ареста в КГБ? Нашли ли его, привезли ли его или он сам пришел? Откуда он знал, куда идти?

Ну, Лёня! Прямо фейерверк аргументов на абсолютно голом месте!

По тону допросов чувствовалось, что власти решили поскорее закончить дело. Под конец следователь распалился и кричал, что мои друзья устроили в Англии какую-то неприятность у советского посольства, и я впервые ощутил защиту перед властью беззакония. Объявили, что завтра состоится суд. Но к суду я уже был подготовлен. Лёнины советы мне сильно помогли. Ни на один мой вопрос не могли разумно ответить ни телефонистка, ни Иткин. Телефонистке, впрочем, была неприятна её роль, она и не старалась искать объяснений. Вместо неё выступал судья, который рычал, как охранник, что вопросы не по делу. А вот Иткин вёл себя подурочки и просто отказался в конце концов отвечать на мои вопросы.

На суде статья «злостное хулиганство» была пере квалифицирована в «хулиганские действия» – то есть до года лагерей. Статья «разжигание национальной розни» не была применена вообще, но зато по антисоветской статье приговори-

ли к трем годам строгого режима, что является нарушением уголовного кодекса: строгий режим дают только лицам неоднократно судимым, а меня привлекали к суду в первый раз. Итак, три года лагерей с уголовниками-рецидивистами.

Вспомнились мне крокодиловы слезы школьных учителей, рассказывавших, как царь помещал коммунистов в тюрьмы с уголовниками, чтобы сделать наказание более тяжким. «Нигде в мире, – утверждал учитель, – не применяли к политическим более жестоких мер. Только в России. Только к коммунистам. Только коммунисты. Только в России».

* * *

После суда заключённого сразу же переводят из следственной камеры в камеру осуждённых. Задерживаться в старой камере не дают ни минуты. Лёня успел помахать мне рукой – и дверь скрыла его от моих глаз навсегда. Что с ним стало впоследствии, мне неизвестно. Помнится, он улыбнулся ободряюще, дескать, три года – детский срок, не робей.

Так, с детским сроком и матрацем за спиной, я зашагал в сопровождении надзирателя в камеру осужденных. Все двери были настежь, но дверные проёмы забраны толстой решёткой, из-за которой меня внимательно разглядывали наглые, злобные рожи бритых оборванцев. Меня запихнули в одну из вонючих камер. Комната была около сорока квадратных метров, а находилось в ней человек пятьдесят. Они

валялись в неопределенного цвета тряпье на трехъярусных нарах. Место мне нашлось на самом верху. Началась совсем иная жизнь. Судьба моя была уже решена. Стоило оглядеться.

Камера походила на сумасшедший дом. Картёжники резались в карты, а в конце игры били друг другу рожи. «Интеллектуалы» предпочитали шахматы. Победителя нередко били по голове доской и фигурами, которые были изуродованы накалом страстей. Из всей массы уголовников выделялся один – маленький, худой, с изможденным лицом старого лагерника. Он подходил к решётке и хорошо поставленным голосом, очень похожим на голос знаменитого диктора Левитана, декламировал: «Внимание, внимание! Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС. Лява Кларка из Березников откусила Андропову (в то время председатель КГБ) ухо. Начальник свердловской тюрьмы шлёт ему искренние соболезнования и пожелание успехов в работе. На этом мы заканчиваем сводку сообщений. Передачу вел диктор московского радио Дурак». Или: «Внимание, внимание! Говорит Дурак! Работают все радиостанции Советского Союза!» Он пародировал зачин, которым Левитан начинал передачи правительственных сообщений о запуске космических кораблей. Дальше шла такая неприличная и весёлая галиматья, что вся тюрьма животики надрывала со смеху. Как-то раз, проснувшись – не помню, ночью или днём, ведь в тюрьме они почти не отличимы, – я при тусклом свете единственной лам-

почки увидел перед собой Дурака. Жёсткое лицо вечного каторжника, пронизывающий, неподвижный взгляд, землисто-серая кожа, лохмотья на татуированном теле...

– Послушай, – вполголоса сказал Дурак, – я вижу, ты один здесь понимаешь в законах. Как думаешь, есть у меня возможность свалить в лечебницу для алкашей? У меня вообще-то уже есть пять лет, но есть и справка эксперта, что я алкоголик. – Он показал мне свой приговор. – Мне обязательно нужно туда свалить. Здесь приходится играть дурака – доносчиков знаешь сколько? Сейчас мне шьют труп. Если докажут, что это я, – тогда вышка (высшая мера наказания – расстрел).

– Я пытался разглядеть хоть какие-нибудь чувства на лице человека, которому мог быть вынесен смертный приговор. Но Дурак лишь скривился презрительно и злобно, как просто от очередной неприятности в своей звериной жизни.

– Почему обязательно вышка? – спросил я.

– Вышка, – уверенно подтвердил Дурак. – Чего еще можно мне вынести? Это же не первое убийство. Да и вообще, чего ещё ждать от такой падлы, как я? Будь я на месте этих юристов, я бы спалил всех, кто сидит на особом и строгом режиме. Всю эту пададь спалил бы.

– Сколько ты всего отсидел?

– Я всю жизнь сижу, – ответил Дурак. – С детских лет. Мне сейчас под сорок, из них 25 лет отсидел. То в лагере срок добавят, то на свободу немного выскочишь. Ну, а со

свободы опять в тюрьму. Разве можно жить на свободе?

– Ну почему же? – возразил я. – Устроился бы на работу. Хоть какие ни на есть – а деньги.

– Работа! – раздраженно сказал Дурак. – Я вот сейчас вышел. Думал, хватит – надоело по лагерям да по тюрьмам шататься. Поступил на ВИЗ, на прокатку. Знаешь, что это такое?

Да, это я знал. Был на экскурсии на заводе. В цехе прокатки экскурсанты не могли простоять и пяти минут. Едкая гарь разъедала глаза. Стоял оглушительный грохот прокатных станов. На расстоянии нескольких метров с трудом можно было разглядеть, как между двух валков продавливали раскаленный красный лист железа. Рабочий хватал его клещами и забрасывал между крутящихся валков другому, который с противоположной стороны подхватывал этот лист такими же клещами и бросал обратно в стан, и так продолжалось, пока не получался тонкий лист. Работа была тяжёлая и опасная: зазеваешься – раскаленный лист упадет на ноги. Здесь дня не проходило без травмы. Только бывшие заключенные соглашались на такую работу, лучшей им все равно не найти. Но в последнее время не шли и они, предпочитали тюрьму. Поэтому местная власть намеревалась перестраивать завод. Коллега по работе рассказывал мне, что, когда он захотел успокоить рабочих своего цеха, раздраженных низкой заработной платой, он повел их на экскурсию на ВИЗ – после этого целый год рабочие не заикались о повы-

шении расценок.

– Да и как жить волку среди людей? – спросил Дурак. – Напьёшься, побьешь кого-нибудь или зарежешь, ведь нормально уже никогда не будешь жить.

Дурак соскочил с нар и подбежал к решётке. В коридоре молоденькая заключенная мыла пол. Зэки столпились, жадно ее разглядывая. Девушка, заметив, что надзиратель не следит, подошла к решетке. На лице ее отразилась какая-то странная смесь страха и бесстыдства.

– Сигареты есть? – прошептала она.

– Есть, – сказал Дурак и протянул сигареты так, чтоб она могла их достать, только просунув руку в решетку. Едва ее ладонь очутилась в камере, зэки притянули её за руку к решётке и кинулись жадно ощупывать ее тело. Девица заорала благим матом. Сбежались надзиратели. Зэки надрывались от смеха. А девица, которую уже оттащили, прижалась к противоположной стене коридора, дрожа от ужаса и отвращения. Дверь закрыли, и в камере стало невыносимо душно. Стояла жара, да еще все курили махорку – не продохнешь. А Дурак уже вещал с верхних нар у окна, закрытого железным козырьком:

– Внимание, внимание! Передаем сообщение ТАСС. Запущен космический корабль. Корабль пилотирует известный космонавт-рецидивист Дурак. Настроение у Дурака хорошее. Все его приборы работают отлично. На Землю Дурак возвращаться вообще не собирается. На радостях он сдуру

поет свою любимую песню «Вернись, дешевка, будешь кушать шпроты, и на бану не будешь ты кимать».

Я заговорил с ним как-то о лагерях. По его подсчетам, в Свердловской области их около ста, причем большинство строгого и особого режима, то есть для рецидивистов.

– Как же получается, – спросил я, – что рецидивистов значительно больше, чем людей с первой судимостью?

– Очень просто, – ответил Дурак. – Человек, попавший в эту систему, уже никогда из неё не выходит. Даже те, кто случайно попал в тюрьму – ну, скажем, шофёр какой-нибудь сбил человека или ещё чего, – он уже не нормальный человек. Выйдет – и обязательно снова попадет. Он уже здешний, никуда не денется.

Дурак перечислил лагерь за лагерем, давая каждому несложную характеристику.

– Если повезут тебя на «командировки» поблизости – это ничего. Правда, народ там все ссученный. Но работа не такая уж тяжелая. В северных лагерях – всё лесоповал. Дорога туда нехорошая – по реке на баржах, в трюмах. Как запрут в трюме – так и везут две-три недели, света Божьего не увидишь. Ну благуют там, конечно, – не все выходят живыми из трюмов. Там надо быть с духом. Иначе, гляди, зарежут.

– А ты не боишься блатных? – задал я наивный вопрос.

Дурак искренне удивился:

– Я? Да я блатных палкой гоняю. – Он перешел на рык. – Чтобы меня кто тронул? Да эта сука места себе не найдет на

земле.

* * *

Распределение на этап шло ночью. Тусклую камеру до отъезда напихали уголовниками. Здесь, в пересылке, собралось отребье со всех концов европейской России и Урала – их гнали на восток, в Сибирь. Пристально оглядывали они друг друга, определяя волчьим нюхом, кого можно обобрать, а кого следует бояться. В углу кто-то варил чифир – кружка воды на пачку чая. Свежему человеку этот напиток показался бы просто противным пойлом. Но если пить чифир постоянно, да на голодный желудок, да еще закурить при этом, слегка пьянеешь и совершенно притупляется чувство голода. Кто в лагерях по десятку и более лет, вообще не могут без чая, а достать его в тюрьме трудно. И из-за чая возникают между эками жестокие драки.

Чифир кипятили, разогревая кружку подождённой тряпкой, закрученной в жгут. Камера полна была ядовитым дымом. Открылась кормушка в двери, и женщина-надзиратель, матерясь по-лагерному, пригрозила изолятором, если не прекратят. Не помогло. Кормушка закрылась. Несколько счастливых обладателей чифира попеременно отпивали по два глотка, передавая друг другу драгоценный напиток. Камера с завистью смотрела, но подойти никто не решался. Ещё бы! В этапке чифир могут себе позволить только из-

бранные.

Среди них выделялся один, по виду армянин. Аккуратная бородка придавала ему почти интеллигентный вид; дорогой, тёплый свитер, меховая шапка и новые ботинки бросались в глаза на фоне грязно-серого, одетого в лохмотья сброда. Армянин не казался похожим на уголовника, и я удивился: как это он сюда попал. Я ещё не знал, что хорошо одеты на этапах только те, которые терроризируют остальных, раздевают их и обыгрывают в карты.

Около часа ночи стали вызывать по фамилиям в соседнюю камеру. Назови статью, срок, раскрой мешок, – но обыскивали поверхностно: все равно в ночной спешке найти бритву, деньги и наркотики у такой публики почти невозможно. Дали три буханки чёрного и пакет протухшей кильки.

– Паёк на три дня, – объявил офицер. – До Красноярска.

Это было для меня неожиданностью. По закону должны направлять в лагеря той области, в которой судили. А до Красноярска – почти три тысячи километров. Впрочем, какой уж там закон, когда и сам срок дали ни за что.

Нас выгрузили из воронок во дворе железнодорожной станции за высоким деревянным забором, и тут я впервые за полгода вдохнул чистый воздух и увидел над головой настоящие звезды! Они светили из других миров и были далеки и заманчивы, как свобода, к которой предстоял нелегкий и длинный путь. Начальник конвоя построил нас по пятеркам:

– Прекратить разговоры!

Колонну эков окружили солдаты с автоматами наперевес. Тишина прерывалась только хрипом овчарок, которые рвались с цепей, задыхаясь в ошейниках.

– По дороге к вагону не делать резких движений, не прыгать вверх и не выходить из строя более, чем на полметра, – как будто хлестал кнутом начальник. – В нарушителей конвой стреляет без предупреждения.

По высоким ступеням я взобрался в Столыпин – специальный вагон для перевозки заключённых. Он похож на обычный купейный вагон, только вместо дверей – решётки от пола до потолка. Окон, конечно, тоже нет. И помещается в каждом «купе» не четверо, как в пассажирском вагоне, а 25–30 человек.

Сверху донизу решётки были залеплены притиснутыми звероподобными рожами стриженных эков. Они, как псы, скалили зубы и что-то орали каждому входящему. В вагоне стоял оглушительный рев. Я попал вместе с армянином в тройник – купе меньше обычного, с тремя полками одна над другой. Но затолкнули нас восемь человек, так что двое улеглись на верхних полках, а шестеро – на одной нижней. Тут перессорились бы и нормальные люди, а у этой публики драки вспыхивали постоянно. После того как всех запихали, против каждого отсека встал вооружённый охранник, и поезд тронулся.

Конвой состоял из узбеков, казахов, таджиков – словом,

из тех, кому не жалко стрелять в русских. (В южных республиках конвой состоит из русских – они убивают нацменов вполне равнодушно.)

Крики и ругань не утихали в вагоне ни на секунду. Дым разъедал глаза – курили почти все, в основном махорку. Вагон вообще не проветривался. Армянин на второй полке стоял, корчась от болей в желудке. От кильки страшно хотелось пить, а воды не давали. Это давняя традиция – давать на этап кильку или селедку, а потом не давать воды. Возле армянина суетился парень лет двадцати пяти. С виду он был отчаянный, хотя и росту маленького, и тщедушный. Сквозь решётку он шипел охраннику:

– С-с-сука, стоишь тут, падла, поставить бы тебя раком.

– Отойди от решётки, – рычал охранник, молодой узбек. – Отойди, а то сейчас выволоку, и наручники надену.

– На, – не унимался парень, протягивая руки, – надевай.

Но охраннику, видно, не хотелось связываться, он пока ограничивался угрозами и матерщиной.

– Принеси воду, падла, – не унимался парень. – Принеси, видишь, человек мучается, – он указал на армянина.

– Заткнись, курва, – сказал узбек. – Наручники надену.

Парень достал из тайников своего рюкзака какие-то таблетки, пачку сигарет и еще что-то и положил армянину на полку. Звал он его Серёгой. А Серёгу знал весь вагон. Когда Серёга переговаривался с кем-то из своих друзей за два отсека от нас, даже полосатики, особо опасные рецидивы-

сты, в отсеке рядом немного стихали. А уж эти-то плевали на всех: чтобы суд вынес определение «особо опасный рецидивист», необходимо, чтобы за преступником числилось не менее трех тяжких преступлений, таких, как убийство, изнасилование, вооружённый грабёж. Срока они получали большие. И лагерный опыт за ними стоял 15–20 лет. Эти-то знали, когда нужно помолчать.

Серёга закурил и сразу закашлялся.

– Совсем не могу курить, – с сильным армянским акцентом проговорил он. – Хочешь? – он протянул мне сигарету.

– Легкие, что ли, у тебя не в порядке? – спросил я.

– Да, – ответил Серёга, хватаясь за грудь. – Туберкулёз. В открытой форме.

Серёга сполз вниз и стал просить охранника вывести его в туалет. Тот делал вид, что не слышит. Ещё бы! В вагоне ехало несколько сот человек, если каждого выводить, так только этим и придётся охранникам заниматься.

Внезапно Серёга стукнул ладонью по решётке с такой силой, что на миг показалось: она сейчас расколется.

– Открой, падла, а то выйду – глаз вырву, – сказал Серёга. – Мне все равно не жить на свете.

Урки орали, требуя, чтоб охранники выгнали его в туалет. Конвойный схватился за пистолет и посмотрел на Серёгу свирепо, но вместо страха увидел свой приговор. Да, этот зэк, кажется, слов на ветер не бросал, и охранник это понял. Серёгу выгнали. После него стали выводить остальных.

ных. А потом даже принесли бачок с водой. Охранники торопили – пей быстрее. Кружка была одна, и Серёга, как самый уважаемый,пил первый, а после него – остальные. Задумаешься на миг: у него же открытая форма туберкулеза – однако только на миг, потому что на всё уже наплевать. Да и вообще, кто попал в тюрьму, то не знает, выйдет живым или нет, так уж до тонкостей ли тут – за кем пить?

Рёв в вагоне не умолкал. В одном из отсеков дрались – били молча и, видимо, с чудовищной жестокостью, так как в женском отсеке бабы завопили, чтоб охранники разняли дерущихся. Тем была неохота, но всё же отсек открыли и одного из дерущихся перевели в другой конец вагона. Зэк на ходу зажимал ладонями разорванный по углам губ рот. Кровь хлестала у него между пальцами. Потом поднялся страшный вой в женском отсеке – бабы били молоденькую зэчку за то, что та отдавалась охранникам в уборной за сигареты. Где-то снова вспыхнула драка, еще более свирепая. Полосатики в соседнем купе ревели: «Бей его, суку, порви ему жопу на 27 частей!» Потом поезд остановился. Вагон стих. Часть уснула. Остальным разговоры уже надоели.

Внезапно я поймал испытующий Серёгин взгляд.

– Ты какой национальности? – спросил он.

– Еврей.

– Еврей? – переспросил он удивленно, точно собирался добавить что-то вроде: «Ну что ж, бывает» или «Ничего не поделаешь». Но вместо этого он сказал:

– Ты знаешь, у меня жена еврейка.

Он дружил с еврейской девочкой с детства. Она ему отдалась и, когда его первый раз посадили на шесть лет, верно ждала его все годы. Серёгу за буйство в лагерь не отправляли, а держали в тюрьме – то в одиночке, то в общей камере с такими же зверюгами, как он.

– Вышел я, а она уже почти вся поседела. Ну, взял как-то я пистолет, а она схватила меня за руку – не пускает. Разозлился я, хотел ее застрелить. Она испугалась, стала просить, чтобы я ее не убивал. Под кровать залезла. Я ее выволок, да чего-то жалко мне ее убивать стало. Я ей сосок на груди отстрелил. Она в обморок. Ну, я стал сосать у нее кровь.

– Зачем... кровь? – спросил я. Серёга равнодушно пожал плечами.

– А потом она все ездила за мной по тюрьмам. Седая вся. И чего ей надо? Плюнуть бы ей давно, ведь всё равно ничего не выйдет. Уже 16 лет – всё тюрьмы и больницы, тюрьмы и больницы. Туберкулёз, скоро помру. Разве досидеть? В лагерь боятся меня выпускать. Людей, говорят, пугаешь.

Уж если опасаются, что он рецидивистов пугает... Но, честное слово, вид у него был вполне приличный.

Снаружи вагона послышалась возня.

– Этап привезли, – сказал Серёга.

Охранники открыли дверь в тамбуре. Раздался истошный, полный отчаяния женский крик:

– Витенька! Ой, Витенька! Ой, ненаглядный! Да что ж это

такое! Да что ж это, Витенька!

– Малолеток привезли, – сказал Серёга.

Женщина с визга перешла на хрип:

– Витенька! Веди себя хорошо, мальчик мой! Слушайся начальство. О-о-ой, что ж это будет-то, Витенька!

Когда паренька провели в крайний отсек перед решётками, даже полосатики притихли. Он был совсем ребенок – ну, лет тринадцать, не больше. Что же это он мог совершить? А шёл гордо, запрокинув голову, руки назад, как настоящий преступник.

Женщина снаружи не унималась. Поезд тронулся, и её крики остались позади. Полосатики о чем-то говорили вполголоса, посмеиваясь. Наконец один из них ленивым блатным голосом заговорил:

– Витенька, а Витенька?

– Чего, – отозвался детский задорный голос из камеры малолеток.

– Витенька, ты знаешь, кто здесь едет? – продолжал полосатик таким тоном, будто собирался сообщить, что он – Красная Шапочка и принес пирожки.

– Нет, не знаю, по-прежнему задорно отвечал Витенька.

– Здесь сидят полосатики, – сказал зэк, подражая интонации воспитательницы детского сада.

Витенька ничего не ответил.

– Витенька, – елейно продолжал полосатик, – а хотел бы ты попасть к нам в камеру?

– Хотел бы, – ответил Витенька.

Звериный хриплый рев вырвался из двух с половиной десятков глоток.

– У-у-у, – надрывались они, хлопая в ладоши и сладостно матерясь. – Эх, хоть на пяток бы минут его сюда! О-о-о, Витенька! Ух, сейчас бы... А-а-а!

– Вот, тридцать пять мне, – сказал Серёга, – а 16 уже отсидел. Еще 10 впереди. Свободы совсем не видел. Уморят меня здесь, не выйду живым.

– За что тебя последний раз судили? – спросил я.

– За убийство. Хотели вышку дать, это у меня не первое. Да судьям взятку сунули. Пятнадцать лет дали. А ты за что?

– За политику, – ответил я.

– Да? – Серёга удивился. – А почему тебя с уголовниками везут?

– По 190-й содержат сейчас с уголовниками, – ответил я.

– Да-да, – подтвердил его приятель. – У нас в лагере сидел один. И религиозников сейчас тоже в уголовные лагеря сажают.

– Ну и дела, – сказал Серёга. – Я в лагерях-то почти не бывал, все по тюрьмам. Уж и не знаю, что на свете творится. Давно их отделили, а потом вообще политических не встречал.

На очередной остановке вывели этап и в отсеках стало немного просторнее. Зэки устали за двое суток от крика, драк и вагонной качки и постепенно стали умолкать. Но в

одной из камер какой-то зэк не унимался.

– Каспар, – обратился он к охраннику-узбеку с таким узбекским акцентом, что невозможно было отличить, кто узбек – конвойный или зэк.

– Я не Каспар, – грозно отвечал охранник. – Наручники надену.

– Каспар, – упрямо повторял зэк, – покажи жопу.

– Наручники надену, – огрызнулся охранник.

– На жопу, что ли? – спросил зэк.

Другие зэки присоединились к забаве и стали наперебой, передразнивая узбекский акцент, уговаривать конвойного снять штаны и показать жопу. Конвойный орал и хватался за пистолет, но ничего не помогало.

– Какой красивый жоп у тэбэ, Каспар, – говорил зэк. – Дай воткнуть разочек, люблю тэбэ, хороший.

Но и это надоело, вагон совсем было затих и вдруг... В Столыпин зашел милиционер. Не конвойный, нет, а просто милиционер, в голубой форме, который следит за порядком в городе. Тут поднялось что-то невообразимое. От рёва и криков, казалось, рассыпется весь состав. Зэки барабанили в решётку и матерились наперебой. Давно они не видели милиционера – с последнего ареста, для многих несколько лет назад. Вспомнилось им и о свободе, и об аресте, и о погонях – словом, было от чего прийти в яростное возбуждение. Особенно расшумелись полосатики. Серёгу они раздражали.

– Постучи им, – сказал он своему приятелю, – скажи, чтоб

заткнулись. Тот послушно заколотил в стенку, и шум у соседей стих.

– Что там за падла колотит в стену? – голос из камеры полосатиков не предвещал ничего хорошего.

– Потише немного! – крикнул Серёгин кореш.

– Эй, ты, – ответил полосатик. – Ты думаешь, мерин, что говоришь? Я тебя, курву, зарежу в этапке.

– Кончай орать, – вмешался Сёрега. – Спать не даете.

– Серёга, это ты, что ли? – отозвался зэк, обещавший зарезать его дружка. Голос стал ласковым, точно он обращался к самому дорогому человеку на свете.

– Я, – лениво ответил Серёга.

– Так мы ж негромко, Серёжа, – все с той же любовью продолжал полосатик. – Но если тебе мешает, так мы можем потише.

Гомон наконец прекратился. Серёга уснул, отвернувшись к стенке. Остальные в нашем отсеке тоже задремали, приткнувшись кто где. Серёгин приятель достал из мешка затасканную тетрадку и стал листать. Сидел он рядом со мной, и я мог видеть всё, что было на измятых листах. А были там выписки из книг, стихи, фотографии и открытки, а то и снимки голых женщин, невесть как попавшие в лагерь. Польщенный моим вниманием, зэк похвастал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.